

ПЕТР ПИЛЬСКИЙ

„Мнози борють мя страсти...“

Венная важная жизнь — арена борьбы, то поучительной, то умилительной, то напрасной — особенно борьбы с самим собой. Винай каждый человек пишет своего собственного преобразования. Расти — значит жить. С ходом времени мы освобождаемся от лишнего, лишнего, четвертого. Становится точнее мысль, строже заповедь, четче язык.

Но бывають особенно настоящие ватуры, ватунация в борьбу не только с паносным, а с собственной природой. Для этого надо обладать большой силой и в этом отношении меня всегда поражал Толстой. Его бесонная совесть, тревоги его мысли, эта безысходная душа, страстное сердце, быть кровью всегда стояли перед неуходящей угрозой его особенной деспотической требовательности. Длинный путь его жизни стал мучительным и жестокий процессом самоуправления. Толстой совесть не вбирал в неупорядоченность логики и прасудилась только к своему внутреннему голосу. Он так и писал: «Есть только два строго логических взгляда на жизнь: один ложный... а другой истинный, но оба ложны». В этой войне с самим собой он остался неизменно.

Сейчас я прочитал его молодой дневник («Годы Минувшего» № 2). Он относится к той поре, когда 25-тилетний офицером Толстой сужался на Кавказ. А в последний (XXVII) кн. «Современных Записок» напечатаны его письма к дочери Марии Львовне, написанные его 1888—1906 г. г.: тогда Толстому было 60—78 лет. Поразительно: Толстой все тот же. В своих тайных жаждах душевного отчуждения он один, все время сдерживая себя, свою горячую и страстную стихийную силу, неизменно в своем стремлении к дисциплине, ясности и аскетизму.

На Кавказе его окружала чуждая среда. Офицерское общество Толстой выносил с трудом. Его считали горделивым и чудачком. А он уже был автором, напечатанным «Детство» и «Набь». Играли модными страсти. Толстой мучился.

В своих дневниках он несколько раз объявляет и удаляет себя в чувственность. Приславие к дневникам рассказывает о стальных казачках. Никоторых можно было пить просто за деньги, другие требовали уважения, третьи отличались недоступностью. Толстой от-

дал свою дань всем. Он уступал зову крови и страдал. Пустая жизнь тютюга.

— «Поск обыда был у Енники и говорил» в Солонидии... Каждая женская толая пога мы кажется принадлежащей красавице... так записывает он в одном мьсте.

Еннина это Ерошка, герой повести «Казак». Непосредственность его стихийной ватуры поразила Толстого. Сам он терзался в этой праздной жизни. Ему стыдно, «что он проведет все эти дни почти так же, как и первые: играть в бары, любовался на дэвок и один раз был пьян»...

Там записаны часты.

— «Написал очень мало... пить привычки работ... играть, купался. Был почти пьян... Был у касати, пить... ничего не дэтал... Хорошенькие женщины слишком дэствуют на меня... Отвратительно... Надбось с завтрашнего дня начать новую жизнь...»

Эти объявления не дадут ему покоя. Но самое замечательное: он сам не хочет уловиться. Ему нужны эти покания и самоконтроль. Душа не хочет засыпать.

— «Благодаря Бога, я доволен собой, но страшно, я испытываю чувство безысходности, когда я бываю и внешне и внутренне спокоен».

Основные черты будущего Толстого не только в этом. Уже тогда его радует, что в смерти бабушки («Отрочество») он признавал характерную черту — религиозность и вьет в неопределенность, уже тогда высказывает мысль, что «простой народ» много выше нас, стоит своей непоколебимой трудов и лишей жизнью, уже тогда он убежден в пагубности страстей и вбьет, что только «во безстрастном состоянии разумно руководить человеком».

Прошло тридцать, сорок, пятьдесят лет, настала старость, давно утих бунт крови, минувшая необходимость борьбы с влечениями собственной плоти, но тревожная душа не успокаивается. В письмах к дочери звучат те же мотивы: совет, указание, предостережение направлены все ту же сторону, говорить все о том же борении человека с самим собой, о победившем начале над ним.

Духовная жизнь Толстого необыкновенно последовательна в своей внутренней логичности и чьлости. Его старость развивала идеи и чувствования, посвященные восточности. Что было в пре-

ных дневниках, раскрылось во всей своей широте в настойчивости здесь, на этих страницах его писем к дочери. Тогда ведь стояло «я», теперь «ты». И все также тревожными, загадочными и трудными вопросами для Толстого являлись любовь. Когда-то отогнанный ей обзаны от себя, сейчас он оберегает от них дочь.

— «Западает не мысль, а обзаны присосется и начесть страсти, расти... и если не дойдет ни до чего, то так и пройдет без счастья, но если высказается, то все эти обрывки мыслей и чувств соберутся в одно и составят что-то как будто целое и длинное: «я давно уже любил бы любую»...

Семидесятилетнему Толстому претит женское безразличие. У него «ощущение, что в последние время все женщины утратили и мучаются, как кошки по крышам». В переплет вопрос идет не о случайном увлечении, а о браке дочери. К житейству Толстой относился очень серьезно. В ту пору на свою многотысячную брачную жизнь с Софией Андреевной он мог оглянуться с удовлетворением и благодарностью. Там не меньше он упорно настаивал на своей излюбленной мысли: «лучше не жениться, чем жениться». Брак он признает только по дельной сохотости, по согласию мыслей или по очень большой страсти. Его благодетельные последствия он видит в избавлении «от этого бытия по крыш и мучанья».

В унорств своей проповеди Толстой ласково-жесток. На плече дочери он опускал любящую, но десотическую руку. В наупуленном стремлении все время идти прямой дорогой, он шагал по жизни, как наивный и трогательный варвар. Молодой друг Марии Львовны он неизменно внушает вэтия сдержанности, осторожности, холодной мудрости, стараясь все предусмотреть до самых ничтожных мелочей повседневного режиса.

— «Старайся не нарушить равновесия... Не недопи не засидишь поздно, не перешиб, не недопи, не расвердись, не обидь кого, не трать пологого времени — старайся во всем остальном собираться по кучку».

В этих предупреждениях, наставлениях, советах, он упорно, он повторяется, он становится мелочным. Во то же время он илгнтен этой небывалой, рйской и красивой вярности и преданностью, этой привязанностью к единой проповеди, одиым и тьм же заповедям, одному, набы поставленному, завету.

Во молодых дневниках прозвучала когда-то мысль о превосходстве простого народа. Но и через сорок лет мы ее услышим вновь в од-

ном из писем к Марии Львовне он с еще больше глубокой искренностью говорит, как ему неприятно писать «для господ», — «их ничем не проберешь». За увлечением он может творить только для народа.

— «Если подумаю, что пишу для Афанасия и даже для Даниила и Игнатия и их детей, то дэает сь бодрость и хочется писать». Толстой повторяет, и я понимаю почему: он итолковывает не только другим, но как молотком гвозди вбивает эти требования своей прописи в собственную память и в собственную жизнь.

Во имя этих назиданий, этих правил нравственности безосновательно Толстой дэлит, мьр на две неравные части. Есть свои и есть чужие. Существуют единомышленники и несогласные. Первые признаны. Вторые жужды и осуждены. В этом человек глгидлался великая идеяная неуязвимость. Он не уаьл приияряться. В объяе мысли он казался обоготвенно живущим, вооруженно отгороженным феодалом в замке.

Его вьсы были каирными, а приговоры неосладалны. Кавказским офицером, начинающим писателем он вдруг отвергает Пушкина. Толстому повести Пушкина кажутся голыми, его проза устарелой. Почти через полвека он вынес еще более удивительный приговор. В Крым в один из вьгутих мзехних дней Толстой проснулся в плохом расположении духа. Ему не писало. У него, больного, тогда бывало обезбокоенный его здорьеет Чехов. Вдруг в письме к дочери Толстой бросил неапоугую и жесткую фразу: «От Чехова получал отвращение — безразвратно главно».

В чем дело? Не разгадали? Ответа нет... Это было период тяжкого недуга Чехова за два года до его смерти, — это было написано тогда, когда Чехов только что женился на искренне и глубоко любимой женщине, артистке Книппер. Почему отвращение? Гдъ граз? В чем безразвратность?

Письма раскрывают человека. Эти страницы его посланий азоряются иногда еще и остьпительным светом огромного таланта. Он проникнут некоррким—математическим духом упорного и десотического гения и образы всплывают, как молнии, в рйской красоте своей неапоугой депрессии радости, и старый Толстой о старости записывает удивительная слова:

— Старость, это точно как дэвка у двери, входящей на чистый воздух. Что больше сдэвлено, что меньше сила, то ближе к двери...

ПЕТР ПИЛЬСКИЙ.